

это, и так уж обиженное, его дитя не влечило жизнь безвестно и безмянно. Второе же удивление поэта, связанное со скрипачом, было литературного свойства. В одном из его сочинений возник персонаж, похожий на Феликса, и на поэта напало упрямство не копировать имя, а заменить его — он промучился несколько дней, и оказалось, что если писать об уличном немом скрипаче, то назвать его можно лишь Феликс, и никак иначе. После этого он для себя и прозвал Феликса черным скрипачом — за черноватую смуглость лица, за угольный цвет глаз, за черную, хотя и оборванную, но всегда черную одежду.

Черный скрипач играл во дворах и просто на улице, оставаясь, когда ему вздумается, и начинал играть, не интересуясь присутствием слушателей; денег не собирал специально, но если давали, брал.

Поэт за ним вскоре заметил престранное чудачество: раза два или три он тащил куда-то старые картинные рамы, подобраанные, видимо, на помойках.

А однажды он увидел черного скрипача, входящего в старый дом с лепными ящерицами на фасаде, в пустой и заброшенный, предназначенный для ремонта, дом; часть окон была выбита, и они смотрели в воды реки черными глазами. Это было уже по-настоящему интересно, и поэт в тот же день посетил этот дом.

Он вошел в вестибюль, и гулкое эхо где-то наверху, в сводах, еще долго хлопало дверью. Под ногами атели осколки стекла из разбитого витража; не зная сам почему, он шел осторожно, стараясь не наступать на них.

Он поднимался по широким истертым ступеням и слушал, как сверху навстречу ему по лестнице эхо ведет его же шаги, словно невидимого двойника, а вскоре такой же двойник появился и снизу, точно под ним, этажом ниже, он повторял каждый шаг его, каждый вздох, каждый скрип башмака.

На площадках лестницы двери встречали его по-разному. Были двери, забытые наглухо и заваленные грудями мусора; были двери распахнутые, льющие на мрамор ступеней яркий веселый свет: были двери чуть приоткрытые, манящие голубым полумраком; были и пустые проемы, ведущие в полную тьму, готовую всякого, кто рискнет в нее погрузиться, растворить мгновенно и без остатка, чтобы пришелец исчез навсегда.

Поэт чувствовал, что попал во власть странных чар этого дома, ему стало казаться, что все эти двери — не просто так двери, что от того, в которую он войдет, зависит, быть может, очень многое. У него даже скользнула — возникла на миг и тотчас исчезла — мысль удалиться отсюда, не тревожить этой спящей пустоты, не искушать судьбу зря.

Часом или двумя позднее ему так и не удалось соорудить, на каком этаже он свернул с лестницы; он помнил только, что вошел в светлую комнату, привлеченный фотографией на стене. Он долго ее рассматривал, забытую или просто брошенную, старинную фотографию, пожелевшую, в черной овальной рамке. Женщина в шляпке с вуалью и в платье с глубоким вырезом, опираясь на зонтик, смотрела вдаль.

Содранные обои лоскутками свисали со стен, и он настилал не меньше семи разноцветных слоев. Он почувствовал горечь, доходящую до ощущения едкого вкуса во рту, горечь брошенного человеком жилья, где обитало не одно поколение.

Поэт подошел к окну — пыльные стекла окрашивали в серый оттенок глубокий двор, и деревья там далеко внизу, и играющих под ними детей. Дети двинулись плавно, замедленно, как это видится иногда во сне, и звуки оттуда не доносились — оттого вместо детской веселой возни он видел сверху непонятный безмолвный обряд. Так, наверное, смотрели бы люди на жителей незнакомых планет... или те на людей. Еще четверть часа назад он принадлежал тому миру, все, что случалось там, было естественно, само собой разумелось, а отсюда так странно... далекий, совсем другой мир.

Ему вдруг ясно представилось, как выглядят снизу эти пыльные окна мертвого дома и как испуган, как ступен, если смотреть оттуда, должен быть человек, находящийся здесь.

Скорей всего, это от стекла, — он стал открывать окно, из всей силы, до боли в пальцах, нажимая на заржавевшие задвижки и пакаясь пылью. Окно отворилось со скрипом, слово бы неохотно, ветер вздул с подоконника пыльное облачко.

Он прислушался — снова никаких звуков, и тот мир, внизу, оставался таким же далеким, таким же чужим. Значит, этот дом так просто не отпускает... А войти в него было легко.

И опять его уколола мысль поскорее уйти отсюда, и опять она тотчас же пропала.

Следующая комната, с оранжевыми обоями, была неприятна, в ней крылось что-то недоброе. Он миновал ее быстро, и в дверях испытал волнующее и жутковатое ощущение, что перед ним расступились, уступили ему дорогу — кто-то невидимый, невесомый, неслышимый и все-таки вполне реальный.

Квадраты паркета, покрытые пылью, поломанное старинное кресло в углу, ленивые узоры на стенах, — он ходил, все это разглядывая, и чувство, что он здесь не один, укреплялось, становилось отчетливее. В этом доме пустоту населяли — он не знал, как их правильно назвать — тени, призраки или сны, скорее всего, именно сны, сны брошенного старого дома.

И где бы он ни шел, по светлым ли комнатам с обломками мебели, по заваленным ли мусором коридорам, поднимался или спускался по темным крутым лесенкам — они, эти тени, все время окружали его, шли навстречу ему, пропускали его, обходили, и он чувствовал их иногда до того остро, что казался, вот-вот услышит их и увидит.

Он бродил и бродил, словно здесь было место, которое ему нужно во что бы то ни стало найти, словно его там ждали. Полы были на разных уровнях, и он по пути одолел несколько коротких лестниц, так что теперь и приблизительно не представлял, на каком этаже находится. Он попробовал вернуться назад, но в знакомые комнаты не попал, а дверь, по мысли его, ведущая на центральную лестницу, была заперта и с другой стороны, видимо, забита досками.

Он побрел в противоположную сторону, надеясь найти черный ход, и, обогнувши, судя по числу поворотов, примерно половине дома, он действительно черную лестницу отыскал, но продвигнувшись вниз смог всего на этаж, наткнувшись на завал из кирпичей и обломков ступенек.

Осознав, что заблудился по-настоящему, он почувствовал вдруг усталость и присел покурить на ступеньки. На лестнице было полутемно, значит уже вечер, значит он бродит по этому дому уже не один час и прошел, наверное, не один километр.

На площадку выходили две двери, сквозь щели одной пробивался свет, другая была темна. Взявшись за ручку первой из них и угадав непрочность замка, он принял ее дергать, дрясти и, навалившись плечом, распахнул ее наружу — и обнаружил за нею то, что заставило его вцепиться руками в дверные косяки и отпрянуть назад.

Дверь вела в пустоту, в воздух, как будто здесь обитали летучие люди — по утрам они открывали двери и, захлопнув снаружи французский замок, улетали в разные стороны, а вечером, возвращаясь, опирали ключиками входы в свой улей и влетали внутрь.

Ему открылось по-вечернему спокойное небо и провал под ногами; там, внизу, кривыми обломками ребер торчали остатки снесенной пристройки. Звуков не было, лишь поскрипывала открытая дверь, бессмысленно раскачиваясь над пустым пространством; притянув ее осторожно к себе и захлопнув, он шагнул ко второй, темной двери.

Глаза к темноте привыкали медленно, и он шел осторожно, но все равно то и дело оступался в неровностях пола и спотыкался о всякий хлам.

Вскоре он попал в коридор, совершенно темный, и продвигаясь вперед, касаясь рукой стены; коридор казался ему бес-

конечным. К его пальцам притронулось вдруг что-то холодное — одернув руку, он сообразил, что наткнулся на дверную ручку. Он зажег спичку: перед ним была резная, темного дерева, дверь, на медных массивных ручках тускло блестели две разнунные звериные пасти.

В щелке у пола угадывалось сероватое свечение. Испытав вдруг жгучее отвращение к темноте, он толкнул дверь — створки медленно распахнулись, открывая широкий вход.

Комнату наполняли золотистые отсветы заката, проникая сквозь высокие, полукруглые наверху окна. Ощущения грязи и запустения не было, хотя кое-где светло-зеленые обои свисали клочьями до самого пола. Потолочная лепка — цветы и птицы — повторялась внизу на паркете, черным деревом среди желтоватого.

В дверях он медлил не больше секунды. Внезапно ему померещилось, что он на виду у множества глаз и они ждут именно его. Он шагнул внутрь — рисунок паркета вел его к выходу на балкон. Он уверенно взялся за ручку стеклянной двери, со смутным и странным чувством, что на этот балкон уже выходил однажды, давно, так давно, что об этом не вспомнить.

Пьянея от свежего прохладного воздуха, он оперся на перилы. Внизу он увидел толпу, что ждала его, увидел людей с цветами, людей, кричащих ему что-то и машущих руками.

Видение это длилось всего один миг. Редкие прохожие деловито шли сквозь сумерки и смотрели по большей части только себе под ноги.

Но его уже не занимали прохожие. Ощущение города, уходящего в светлую летнюю ночь, целиком захватило его. Асфальт уже не был плоским, не был грязным и серым, мостовые обрели форму и мягко мерцали розоватыми и лиловыми бликами. Улицы словно плыли вдаль и соперничали между собой, пригласая в свой теплый прозрачный сумрак. И не воду уже несла река, ее наполняло черноватое чеканное серебро, отражая легкие силуэты домов. А те — один, из белого моря, тихонько светилась, другие, будто вылепленные из терракоты, уже засыпали.

Он забыл о времени и впитывал чудесное зрелище, но вскоре почувство, что его где-то ждут, пришло к нему снова. Почти в уверенности, что кого-то сейчас увидит, он резко оглянулся, но комната уже погрузилась в темноту.

У него хватило предусмотрительности проверить, где он находится, — он стоял на балконе третьего этажа почти над самой входной дверью, рядом с центральной лестницей.

Он нашел без труда выход, и на лестнице эхо опять повторяло высоко в сводах звуки его шагов.

В город спустилась голубая тихая ночь. Дома вбирали в себя призрачный свет неба и мерцали над темной водой приглушенными красками, от них исходила, казалось, еле слышимая музыка.

Поэт шел домой поспешно и почти не глядя по сторонам, не в силах перенести избытка окружающей его красоты; он чувствовал, в его отношениях с городом открывается новая страница, и верил, что напишет теперь удивительные стихи. В его воображении теснились слова, образуя ритмически движущиеся, яркие и причудливые цветные сочетания.

Дома он сел к окну, отворил его и, не включая света, еще долго записывал строчки.

А утром, проснувшись поздно от духоты и шума трамваев, он обнаружил, что ничего не помнит из вчерашних своих сочинений. Разбирая корявые буквы, выпрыгивающие из строк и наползающие одна на другую, — а ведь ночью ему казалось, что пишет он аккуратно, как при солнечном свете, — он часть слов прочел так и не смог, а стихи показались ему отвратительными, беспомощными, напыщенными, в них не было ничего от поразительной красоты минувшей ночи. Он решил порвать их, и ему это было ново и неприятно: раньше он никогда не рвал неудачных стихов, а просто откладывал в стопку, и они потом сами гасились.

Его потянуло на улицу. Город плыл в легком тумане и выглядел спящим, туман приглушал уличный шум, словно город просил не будить его, не тревожить его сновидений.

Поэт брел по набережной, бессознательно выбрав путь, ведущий к пустому дому; над водой лениво ползли бледные клочья тумана. И как вчера в доме, но теперь уже под открытым небом, он чувствовал себя окруженным недоступными его взгляду и слуху теньями. Они шли рядом, позади и навстречу, обгоняли и уступали дорогу. Тени, сны города... если бы он мог в них проникнуть! Он видит лишь оболочку, город внутри его не пускает.

К пустому дому он подошел по другой стороне реки, из-за тумана сам дом был плохо виден, но его отражение рисовалось отчетливо на поверхности молочно-белой воды, словно только что всплыв из глубины. Перед темными окнами, как ленты прозрачной ткани, скользили сероватые туманные полосы. Туман съедал все цвета, превращая все краски в белые, черные или серые, и поэт удивился, приметив на двери дома голубое пятнышко, и удивился еще более, признав в нем почтовый ящик.

Зачем на таком доме быть почтовому ящику? Это так его занимало, что он тут же не поленился дойти до моста, чтобы перебраться на ту сторону.

Ящик выглядел совсем новым — обыкновенный почтовый ящик из жести, с тремя круглыми дырками. В дырках что-то белело; он вытаскил гвоздь, вставленный вместо замка, крышка откинулась, и в его руки упало письмо.

Взглянув на конверт, он вынужден был осмотреться, поверяя, насколько нормально он видит все остальные предметы — столь невероятен был адрес: «Вторая невидимая планета Марс, город черного огня, Рихард Вольф».

Почерк был ровный, почти без наклона и чуть небрежный, почерк привычного много писать человека. Единственно разумное объяснение, что это дело рук шутника или помешанного, не успокаивало поэта. Более того, конверт вызывал холодное, непонятное и жутковатое чувство, как если бы, например, железный гвоздь у него в руке вдруг начал извиваться наподобие червяка. Оттого, прекратив исследование конверта, поэт вернул его в ящик и удалился тем же путем, которым пришел.

На мосту ему встретился черный скрипач, и с другого берега поэт видел, как тот подошел к дому, вынул письмо из ящика и скрылся в дверях, но он не удивился и воспринял это как само собой разумеющееся.

С того дня дом с ящерицами стал чем-то вроде маяка для поэта, где бы он ни бродил, все равно ноги сами приводили его к этому дому. Все острее он ощущал наполненность города неведомыми ему — он так и не придумал, как их называть, — существами; ему теперь часто виделись на пустых улицах ускользающие тени, мерещился говор людей и скрипы повозок. Он писал мало и большую часть стихов тут же рвал на клочки, но надеялся, что создаст нечто замечательное, когда ему наконец удастся проникнуть во внутреннюю, скрытую жизнь города. И этот пустой дом представлялся ему входом в таинственный и несомненно прекрасный мир.

В доме происходила какая-то своя жизнь, и поэту время от времени удавалось улавливать ее внешние проявления. Насколько раз еще он видел черного скрипача, входящего внутрь, и один раз дождался его выхода — тот провел в доме более часа. Поэт основательно изучил географию этого дома и не путался больше в этажах и лестницах, бывал там часто, но ни разу не обнаружил следов деятельности скрипача.

А однажды вечером, поздно, в окнах третьего этажа, он заметил свет, колеблющийся, слабый и желтоватый. Ошибки быть не могло: лето шло к концу и ночи уже были темные,

Еще дважды белели письма в почтовом ящике, но поэт их не трогал, испытывая к ним инстинктивную неприязнь.

И еще один случай остался у него в памяти. Все у того же дома, в дождливые сумерки, неизвестно откуда взвизывая, перд ним внезапно возникла женская фигурка в плаще с капюшоном. Она шла навстречу ему, они разминувшись быстро, и лица он не разглядел. Ее взгляд скользнул по нему с приветливым безразличием, и у него мелькнула фантастическая нелепая мысль, что она могла бы с тем же спокойствием пройтись сквозь него, что не заметив. Через несколько шагов он оглянулся, но ее уже не было, словно она растворилась во влажном сумраке.

Эта встреча ему почему-то казалась важной, и он даже жалел, что не попытался заговорить с незнакомкой.

Время, однако, шло и не приносило поэту ничего нового. Чего он ждал — он и сам вряд ли мог четко сказать; ждал каких-то изменений в своей жизни, ждал прозрений и, не помышляя о чем-либо интересном вне и помимо города, ожидал, когда город приобщит его к своей внутренней таинственной жизни.

Это напряженное ожидание его изматывало, а город не только не открывался, но и отдалялся теперь от него. Он по-прежнему много бродил по улицам, восхищаясь городом с грустью отвергнутого поклонника. Писать он сейчас вообще ничего не мог.

Даже в доме с ящерицами он все реже улавливал дыхание той, скрытой и для него главной жизни города, все реже чувствовал присутствие теней или снов этого дома. Он знал, их не стало меньше, просто он их теперь не чувствовал, и они не замечали его.

Он забрел туда как-то вечером, в позднее время, и, свободно уже ориентируясь в темноте, выбрался на балкон. Под ним медленно, еле заметно покачивался фонарь, освещающий широкий круг перед дверью дома и подножья деревьев; их кроны и набережная скрывались в душноватой тьме августовской ночи. Под фонарем билась бабочка, шелест крыльев казался громким; потом она делась куда-то, и тишина стала полной.

Фонарь перестал качаться, темнота замерла, словно приговорила слушать, и неожиданно для себя он заговорил, обращаясь к этой чуткой, окружающей его темноте, заговорил негромко, не думая, что говорит, слова сами собой срывались с его губ:

— Город мой, ты прекрасен и непонятен, о город! Ты хранишь еще отзвуки забытых языческих говоров, еще мстят тебе призраки болотных огней и старинного чухонского колдовства, погребенные под мостовыми, под многими слоями камней, под

мертвой коркой асфальта. Еще слышны в безлунные ночи стук карет, еще ветер приносит запахи моря, скрип уключин и хлопанье парусов. Город, я пленник твой и твоя собственность, я частица твоей души, подари же мне хоть один, лишь один из твоих снов, покажи хоть одно из хранимых тобой видений!

Эхо слов его стихло. Казалось, темнота его разглядывает тысячами внимательных глаз.

— Bravo! Bravo, поэт, — произнес внизу мелодичный голос; гулая пустота дома наполнилась женским смехом и рукоплесканиями.

Внезапно и быстро они оборвались, звонко повторенный темными стенами, умолк последний хлопок. Стало опять тихо, и опять беспокойная бабочка трепыхалась, шурша о стекло фонаря. Огромные пятнистые тени крыльев металась в стволах и ветвях деревьев, заставляя их тоже метаться, и под ними ничего не было видно.

— Кто вы? — спросил он тихо.

Снова раздался веселый смех, но вслед за ним голос сказал совершенно серьезно:

— Одна из теней этого города, один из его снов. Слушайте же, поэт: ваша просьба будет исполнена. Завтра вечером, здесь, ровно в восемь — и будьте точны, поэт!

К дому он добирался далеким кружным путем и спать лег перед рассветом. Ему плохо спалось, сквозь дремоту он чувствовал наступление утра, и мерещились беспокойные сны. Рассвет представлялся чем-то одушевленным, со множеством серых котей, сдирающих остатки темноты с города, и по улицам разбегались запоздалые мыши, спеша спрятаться от белеющего чудища.

День он провел, не выходя на улицу, ожидая сумерек с нарастающим возбуждением. Окна в доме напротив зажигались и гасли в надлежщем порядке, город исправно показывал время. Наконец, весь первый этаж погас, это значило — полovina восьмого, и поэт отправился в путь.

По дороге, пока он шел вдоль пустынной набережной, возбуждение его улеглось, и, открывая уже привычную для себя дверь, он испытывал почти апатию.

За дверью виднелся свет — на первом же марше лестницы, по краям верхней ступеньки, неподвижным прозрачным пламенем горели две свечки. Он прошел между ними, и на следующем марше горели еще две свечки — эти пары огней пропущали его и вели вверх, к третьему этажу.

На площадке была полутьма, в одной из дверей воздух слабо светился и смутно рисовалась высокая темная фигура.

— Добро пожаловать, юный поэт, — проговорил гортанный,

чуть харкающий голос, и тем не менее довольно приятный. — Профессор Вольф, — представился он и жестом пригласил гостя в освещенный проем.

Поэт рассматривал не сразу, что профессор курит трубку, и был в первый момент озадачен еле видными багровыми отсветами на его лице. Тот вынул изо рта трубку и, отступив из проема, оставил в нем облако белого дыма. Перешагнув из проема, поэт обратил внимание на странную вещь, в общем мелочь, над которой, однако, впоследствии размышлял: подходя к дверям, он видел едва освещенное пространство, когда же вошел внутрь, комната была залита ярким и теплым светом, здесь горело не менее двух десятков свечей. От их полыхания слегка кружилась голова, и поэту стало казаться, что он видит все происходящее, и хозяина, и себя самого, со стороны, вернее с разных сторон, словно ему удавалось глядеть сразу во много зеркал, и ощущение это немного беспокоило и немного пугало, он так и не свыкся с ним и чувствовал странность его до самого конца вечера.

Как бы издала он видел хозяина, его бархатную черную куртку и сверканье перстня на пальце, как бы издала видел себя самого, в сером свитере, и, поклонившись профессору и опускаясь в предложенное ему кресло, он дивился тому, что со стороны выглядел принужденным и очень угловатым, ибо знал за собой угловатость в движениях, а в присутствии новых людей — и неловкость. Впрочем, у него не было уверенности, что сейчас он делает все по своей воле, — его поведение скорее напоминало сон, где все происходит само собой, где можно себя отдавать во власть незримых течений и плыть, куда вздумается.

Он пытался взглянуть в лицо профессора, но видел только глаза, напряженно блестящие, и чем больше старался увидеть его лицо, тем яснее почему-то видел самого себя. И лишь постепенно, позже, специально не глядясь, составил он представление о лице профессора. Смуглое, все в глубоких морщинах, окаймленное длинными, до плеч, волосами, черными, но пронизанными яркими серебряными нитями седины, оно поражало соединением женских и мужских черт. Несмотря на почтенный, и даже очень почтенный возраст, это лицо невозможно было назвать ни старым, ни старческим — а скорее всего, древним.

Давая время поэту освоиться, профессор пускал клубы дыма, и они, принимая форму странных существ — не то рыб, не то ящерин, — плыли хороводом под потолком и, извиваясь, выполняли на волю, через открытую на балкон дверь,

Над креслом профессора, низко, повис серый пласт дыма, похожий на гигантскую рыбину-ската, с длинным змеевидным хвостом и хищной массивной мордой, ее широкие плавники-крылья медленно колыхались. Профессор, запрокинув голову, направлял к рыбе все новые клубы дыма, они к ней прилипали, и рыба становилась плотнее, в ней чувствовалось все больше силы, и движения плавников и туловища делались все более упругими. Наконец, эта игра профессору налюбова, он отложил трубку и небрежно пустил к окнам тонкую струю дыма, словно указывая рыбине путь — и она вдруг полплыла, упруго и плавно изгибая лоснящееся брюхо, колыхая мощными плавниками. Описав наверху точный круг, она выскользнула в балконную дверь, и поэт облегченно вздохнул, ибо готов был покаяться, что, проплывая над ним, она сверкнула живыми, видящими и злыми глазами.

Трубка погасла, профессор ее вытряхнул и тут же принялся набивать снова, ловко погружая в нее тонкие нити золотистого табака и тщательно их уминая.

— Итак, юный поэт, вы влюблены в этот город, вы хотите постигнуть его красоту, вы мечтаете о гармонии? О, поэт, дело тут не в одной гармонии, красота эта сложнее. Вплетите в ткань вашей гармонии чуть заметную нить уродства, тончайшую нить безобразия, и поиграйте с нею — вот тогда вы начнете кое-что понимать. Пусть эта нить то теряется, то появляется снова, и не одна, а сразу две-три нити, и вдруг они исчезают, уходят вглубь. Они не видны больше, но вы знаете, в глубине они существуют, их присутствия уже не забыть — поиграйте этим, поэт! Вот тогда ткань ваших стихов будет всех завораживать, и все станут повторять: колдовство... А вам не знакомы, поэт, такие стихи:

В беспутстве соблюдая чувство меры,
И гнусность доведя до красоты,
Они могли бы нам являть примеры...

— Не знакомы? — он зажег свою трубку, и к потолку потянулся столбик густого дыма.

Лазурный фон небесной пустоты
Обогащен красою их несходства
Господством в каждой — собственной черты.
Святых легко смешашь, а уродство
Всегда фигурно, личность в нем видна,
В чем явное пороков превосходство...

Сделав паузу, он отправил несколько дымных колец в угол комнаты, и поэт, словно повинувшись повелительному приглашению, обернулся.

На выступе голландской печи, на фоне нарядных ее изразцов, мерцающих огнями свечей, сидело нечто серое, птицеподобное, отвратительное. Туловище и ноги прятались в серых складках — о, ужас, это была не ткань, а кожа опавших перепончатых крыльев, выше затылка торчал уродливый горб, и вислый затылок повторял форму горба; огромные уши, каждое как отдельное лицо какой-то нечистой твари, почти закрывали хищный нос и розоватые плотоядные губы; по шершавой коже чудовища то и дело пробегали морщины, будто его изнутри корежили судороги, лицо искажалось гримасами страдания и злобы.

Словно издавека доносился голос профессора:

Но общность между ними есть одна:
Как крохля вопрошительного знака,
У всех химер изогнута спина...

— Вы думаете, юный поэт, можно без конца шилфовать один и тот же алмаз гармонии, и это будет искусство? Нет, поэт, искусство — та же алхимия. Положите этот ваш алмаз в самый прочный тигель, разведите под ним жаркий, сжигающий все огонь и добавьте к алмазу каплю ядовитой и смрадной слюны этой твари!

По коже химеры опять пробежала судорога, лицо сморщилось, как от сильной боли, и ощерился рот, готовый кусать, — поэт же поймал себя на том, что, испытывая страх и отвращение, не способен все же глаз отвести от химеры, жадно следит за каждой складкой пупырчатой кожи и ждет очередной конвульсии с омерзением и восторгом.

— Найдите в себе крупицы немного страха, жестокости, извращенного порока, неопикуемого уродства. Сплавьте, поэт, их в тигле, если у вас хватит сил, сплавьте с алмазом гармонию! И вы создадите кристалл, привлекательнее которого нет для людей, они им будут восхищаться веками, они за него отдадут свои души, пойдут за ним в воду, как крысы за дудочкой. Это будет великий соблазн и колдовское искусство!

Он замолчал, прислушиваясь, — с лестницы доносились легкие, торопливые шаги.

Химера забеспокоилась и начала расправлять крылья, пытаясь взлететь, но не успела — она стала бледнеть, расплываться, превратилась в отдельные серые клочья и исчезла совсем, растворившись в воздухе.

— Ну конечно, я опоздала, — донеслось из проема двери. Это было сказано негромко, по-домашнему, и поэт сразу узнал голос, пригласивший его вчера, голос, как казалось ему сейчас, красивый и мелодичней которого нет и не может быть на свете.

И опять, как в первый момент, когда он вступил в эту комнату, поэт почувствовал, что внезапно что-то здесь изменилось — все как будто оставалось на месте, и все-таки один мир мгновенно сменился другим. Огни свечей стали теплей и спокойней, они мягко играли в синих цветах изразцов, подернутых паутиной трещин; стены комнаты не тонули уже в темноте, они стали видны и, приблизившись, уютно золотились обоями. Дым профессорской трубки тонкой струйкой плыл к потолку и исчезал там бесследно.

И опять поэт чувствовал, как разумная его воля уходит, растворяется вместе с дымом, и испытывал наслаждение от возможности непосредственно и безраздельно отдаваться во власть внутренних глубинных течений, бессознательных импульсов.

Он поднялся и быстро пошел к двери, спеша встретить ту, что должна была сейчас войти, и зная заранее, что она прекрасна и что он сразу будет отчаянно влюблен, да впрочем, он уже был влюблен, а она, словно это само собой разумеется, задержалась на миг в дверях, поджидая его, а после шагнула навстречу и, радуясь ему, протянула руку. Его завожило тепло и изысканная простота этой руки, и у него не было сил отпустить ее, но это и не потребовалось, потому что, опираясь на его руку, она отправилась с ним в глубь комнаты не спеша и тихо, будто они встретились после долгой разлуки.

Профессор он видел вдалеке, словно тот отплыл от них со своим креслом, и неясно было, услышит ли он, если с ним попытаться заговорить.

Но лишь только зазвучал ее голос, кресло профессора окзалось рядом, и они теперь сидели втроем, близко друг к другу, и вокруг них на своих восковых стельках трепетали язычки пламени.

— Надеюсь, Вольф, вы не пугали поэта вашими фокусами? Профессор сосредоточенно пускал к потолку колына дыма, и она обернулась к поэту:

— Вы догадались, что здесь нет ничего сверхъестественного? Вольф — великий типотизер. Теперь его мало кто знает, а когда-то его имя — Вольф — не сходило с афиш.

— Да, да, — педантично и вяло подтвердил профессор, — с афиш Петербурга, Берлина, и Стокгольма, и Вены... впрочем, это все пустяки, — он слегка оживился, — настоящая работа там, где афиш не бывает. Смотрите!

Он поджал под себя ноги, сел по-турецки в кресле и запытел трубкой, и трубка его вдруг вытянулась так, что вряд ли он смог бы дотянуться рукой до ее конца, глаза сузились и стали совсем раскосыми — вылитый Чингисхан, подумал

поэт, — а из трубы начало выполнять что-то черное, тянущееся вверх в столбе дыма. Завучала тягучая мелодия, дым рас-сеялся, и стала видна черная большая змея — блестя роговыми чешуйками, она медленно раскачивалась под музыку.

Потом все исчезло опять в клубах дыма, и когда он рас-сеялся, профессор сидел в кресле, с потухшею трубкой, и вы-глядел очень усталым — лицо его посерело и руки слегка дро-жали.

— Вы сегодня в ударе, Вольф. На меня ваш гипноз дей-ствует редко... Но умоляю вас, будьте разумны.

— Хорошо, хорошо, конечно... Только ты ошибаешься: это был не гипноз, тут была настоящая королевская кобра. Если бы я в тот момент умер, она осталась бы в этом доме. Да, да, юный поэт, в этом доме может случиться все, что угодно, здесь перекрещиваются дороги разных миров, — он полуза-крыл глаза и говорил очень тихо, — но мы здесь в последний раз. У меня уже мало сил... мне помогал другой, более силь-ный, во имя старой вражды... теперь это кончилось.

Поэт мало что понял из этой речи, но почувствовал, что за ней кроется нечто серьезное и тяжелое для профессора. Тот же закрыл глаза полностью и произнес медленно и отчетливо: — Оставьте меня ненадолго, — он кивнул в сторону бал-кона, — я отдохну и покажу вам мою коллекцию.

Под балконом фонарь не горел, и кругом все было темно. Поэт взглядывался в черные воды реки — в них плавало про-зрачное отражение дворца с того берега и соседних домов. Дома уже спали, лишь несколько окон желтыми пятнышками пробивали маслянистую воду.

За спиной его полыхали свечи, он чувствовал их тепло, и в осколках стекла, повисших кривыми зубцами в раме бал-конной двери, отражались мягкие кисти пламени и за ними сгорбленный силуэт профессора. Поэт пытался найти в отра-жении другой силуэт и другое кресло, и никак ему это не уда-валось, пока он внезапно не увидел перед профессором два пустых кресла. Моментально его охватило неприятное оцепе-нение, и в воображении пронеслось столько темных мыслей и подозрений, что он даже успел удивиться своей готовности ожидать недоброго, — неужели все это гипнотические проделки профессора? Почему тот не назвал ее по имени? Неужто это... всего-навсего фокус? А как же ее рука — теплая, ласковая? Нет, нет, ни за что...

Резким усилием преодолев свою оцепенелость, он обернул-ся — она шла к нему и была уже рядом, и он видел, она пони-мает его беспокойство, — и, как в первый миг ее появления,

свечи вспыхнули ярче, а на улице, в теплоте ночи, стала слыш-на тихая музыка.

Они стояли, опершись о перила, и шероховатость чугунной решетки приятно холодила руки. Пятнышки окон показыва-лись и уливали по черной воде, словно река убаюкивала отражения не уснувших еще домов.

— Слышишь музыку? — она наклонила голову к его плечу и говорила почти неслышно, будто опасаясь что-то разрушить в молчании города. — Там бал, и нас с тобой ждут.

В окнах дворца напротив голубыми и розоватыми светля-ками загорались свечи, их становилось все больше, и в их свете скользили тени — танцующие пары.

— Я хочу на бал, мы пойдем? Хоть ненадолго. А после гулять... или к нам... или к тебе. Мне кажется, ты должен жить где-нибудь высоко, в башне, ближе к луне и звездам.

Огни дворца разгорались все ярче, и пение скрипок доно-силось теперь отовсюду и наполняло ночь, словно в спящем городе начинался таинственный карнавал. Время остановилось и стало вдруг ошутимым, казалось, они сквозь него плывут, взявшись за руки, как в теплом фосфоресцирующем море.

Профессор их ждал, уже успев отдохнуть, и глаза его при-вораживали напряженным блеском. Пригласив их за собой нетерпеливым движением, он пересек освещенное пространство и шагнул в черноту открытой двери, ведущей в соседнюю ком-нату.

Он остановился в дверях и поднял повыше подсвечник, где ярким и белым пламенем горела пара тонких свечей. Пятнами, будто нехотя, отползала в углы темнота, и за ней проступало золотое мерцание — источник его поэт разглядел не сразу — мерцание рам висящих по стенам картин.

— В этом доме, юный поэт, жил еще мой прадед, и уже тогда здесь были картины.

Они вслед за профессором шли вдоль стен, она опиралась на руку поэта, и он шел осторожно, ощущая ее прикосновение как хрупкую драгоценность.

Пламя свечей вытягивалось все выше, и стало светлее. В темном золоте рам трепыхались отблески свечек, а картины сняли темно-красными, изумрудными и удивительной прозрач-ности голубыми красками. С полотен смотрели мужчины в кам-золах и кружевах, во фраках, в мундирах, и женщины с ясно-ми ласковыми глазами, с покатами плечами, в открытых плать-ях, — лица грустные и веселые, внимательные и безразличные, но все поразительно спокойные и приветливые. И у поэта мель-кнуло тоскливое чувство — не зависть, а смутная горечь, будто

среди этих лиц он когда-то жил, но это давно уж забыто и уверенно навсегда.

— Смотрите, смотрите же, юный поэт. Загляните, поэт, в эти лица, встретитесь с ними глазами! Видели вы в своей жизни хоть секунду такой безмятежности? Видели хоть раз человека, в чьем лице было бы столько покоя? Вам ли тягаться в гармонии с ними, окруженными ею с детства?

Они перешли в следующую комнату, и здесь тоже висели картины. Музыка доносилась тихо, и казалось, портреты внимательно к ней прислушиваются.

Поэт бережно вел свою спутницу, обходя выбоины в паркете, и радовался доверчивости, с которой она опиралась на его руку. Так они миновали еще один зал с картинами, и к поэту закралась мысль, которую он всячески отгонял, ибо она не вязалась с состоянием блаженного парения, в котором он пребывал, с безграничной нежностью к его спутнице, и все-таки она, эта мысль, прочно угнездилась в глубине его сознания: откуда здесь столько картин, и как они могли сохраниться, в общем — не дурачит ли профессор его опять гипнозом? Стыдась этой мысли, он не мог от нее отделаться и испытывал непреодолимое желание потрогать какое-нибудь из полотен, инстинктивно предполагая проверку на ощупь вполне убедительной.

— Вгляните, юный поэт, взгляните на эти ниточки трещин, — раздался рядом каркающий голос, и тонкие пальцы профессора коснулись холста, — только старая живопись излучает покой. Не успешная потрескалась краска будоражит, сестра смутение, электризует.

Поэт тоже протянул руку, все еще опасаясь, что его пальцы пройдут сквозь полотно беспретятственно, ничего не встретив.

— Смелее, смелее, юный поэт, — подбодрил его профессорский голос.

Поэт ощутил плотность слоя масляной краски, прохладу ее и приятную гладкость, и действительно, от нее исходило, проникая сквозь кончики пальцев, настроенное невозмутимости и покоя.

Это действие было настолько сильно, что, убрав от холста руку, он почувствовал себя беззащитным, и тогда ему стало казаться, что со спины на него смотрят чьи-то недружелюбные и любопытные глаза.

Он оглянулся — у дальней, плохо освещенной стены улавливалось шевеление. Его спутница это тоже заметила, поняв он по тому, как напряглась вдруг ее рука.

Всмотревшись уже вместе, они разглядели большой, окаймленный тяжелой рамой портрет. Рука ее вздрогнула и напру-

жинилась еще больше, а у поэта подступивший уже было гадкий страх сменился радостью и благодарностью к ней — если ей тоже не по себе, значит, какая бы здесь бесовщина или злые чары ни действовали, она им чужая, она с ним, они вместе. Желая ее защитить, он обнял ее за талию и почувствовал, как к ней возвращаются спокойствие и легкость.

Профессор удивленно к ним обернулся.

— Он шевелился, — сказал поэт, прося у нее взглядом поддержки.

— Он шевелился, — подтвердила она, как показалося поэту, чуть весело.

— Все юные слишком мнительны, — произнес профессор высокопарно и с усмешкой, обращенной скорее к портрету, чем к ним, — вам обоим пора уже знать, что живопись при свечах оживает. Если вам кажется, что портрет покидает раму, — словно читая лекцию на ходу, он прошагал к портрету, и его краски засияли от огней свечек, — нужно пристально поглядеть ему в глаза, и все вернется на место.

Поэту опять почувдилось, что он обращается не к ним, а к портрету.

Там был изображен перс не перс, индус не индус — поэт не очень-то разбирался в подобных вещах, — какой-то восточный повелитель, и поэт сразу ощутил исходящую от него мрачноватую силу и власть.

Профессор поднес подсвечник поближе. Вспыхнули на полоте драгоценные камни на поясе и на рукояти сабли, заблестело золотое шитье одежды, засиял крупный, кровавого цвета рубин в белоснежной ткани чалмы, и сверкнули угольным блеском глаза портрета — чуть раскосые, умные и жестокие.

— Черный скрипач! — проговорил поэт, не зная сам почему, шепотом.

Рассеянно, как бы сомневаясь в существовании поэта, профессор поглядел на него, а может быть, сквозь него.

— Могутии дух, разрушитель, мятежный и страшный. . . Давний враг и союзник, его путь скоро кончается.

Поэт испытывал неловкость, не понимая всех этих слов и чувствуя, что они не предназначены для его ушей. И его спутнице они тоже, видимо, были не очень ясны, к тому же и неприятны, и она недоуменно нахмурилась.

— Профессор же продолжал все так же рассеянно:

— Теперь я с вами прощаюсь. Идите и будьте счастливы.

В ответ она, вместо прощания, повторила фразу, сказанную уже ею раньше:

— Умоляю вас, Вольф, будьте разумны.

Она в темноте уверенно вела поэта за руку к выходу, спеша, запыхавшись, и на лестнице, опираясь на его плечо, говорила возбужденно и тихо:

— Как все странно и весело: я иду с тобою на бал. Будет музыка, много людей, и мы с тобой вместе, вдвоем. Я хочу танцевать с тобой... ах, я и забыла, разве поэты танцуют... но это невозможно, ты все равно будешь со мной танцевать.

На улице было прохладно, и в руке ее чувствовалась легкая дрожь.

— Милый, скорее, скорее! Нам нужно успеть к двенадцати. Ты простишь ведь мне эту прихоть? Мы явимся ровно в двенадцать!

Они шли под деревьями, по мягкой сухой земле, и она бесшумно пружинила под ногами.

Но скоро, направляясь к мосту, они миновали последнее дерево, и первые же шаги по асфальту вторглись в тишину механическим жестким звуком. К нему на мосту прибавился режущий ухо скрип рассыпанного здесь, как назло, тонким слоем песка. Было нечто неуклюже-неделикатное в их неуменнии перейти с одного берега на другой, не расстреливая покоя ночных набережных.

На нее это тоже неприятно подействовало, и поэт чувствовал неловкость и даже невольную свою виноватость за внешне явленную реальность мира.

Что-то вдруг изменилось. Рука ее лежала по-прежнему на его руке, но в прикосновении ее ощущалась теперь осторожность и напряженность. Молчание, только что бывшее продолжением разговора, стало мучительным.

Они перешли мост и шли молча по другой стороне реки, шли как-то скучно и деловито, и пропасть беспринципного отчуждения углублялась все больше.

Она сделала попытку, как подумалось поэту, из жалости, исправить положение:

— Что же вы молчите, поэт? Поговорите со мной о чем-нибудь.

Но прозвучало это капризно и по-чужому, и поэт, злясь на себя и за то, что слишком отчетливо видит ее беспомощность, и за собственную скованность, не мог больше произнести ни слова.

Молчание стало невыносимым, и для обоих было спасением приближение из темноты фасада дворца, смутно белющего колоннами.

Окна были совершенно темны, звуков никаких не было, и, недоумевая, откуда там могут быть люди, или тем более праздник, поэт все же хотел повернуть к подъезду.

— Нет, нам не сюда, — поправила она его устало и тихо, но в голосе ее скользнул чуть заметный оттенок ласковой насмешливости, и по тому, какую теплую радость вызвал в нем этот ничтожнейший намек на близость, поэт понял, как много он потерял за последние десять минут.

Они обогнули дворец и через садик прошли к боковому флигелю, и там, во втором этаже, окна светились.

Поднимаясь по лестнице и затем готовясь нажать кнопку звонка, она смотрела на поэта смущенно, словно не решаясь заговорить.

— У нас нет сейчас времени, я объясню все после... через десять минут, не позже, вам нужно будет вспомнить о неотложном деле и удалиться. Постарайтесь, чтоб это вышло естественно... я потом объясню.

Эти десять минут в памяти у поэта остались тревожным и сбивчивым сном. Много народу и слабый свет, большая длинная комната перегороджена резной аркой, подпертой витыми столбиками; под настенной лампой негромко читали вслух какую-то книжку, а в другом конце при свечах пили чай. Их усадили за столик, она безучастно оглядывала присутствующих, иногда валю кому-нибудь улыбаясь, и, видя ее в профиль, поэт поразился, до чего она похожа сейчас на усталую птицу. Он попытался отогнать от себя это впечатление, считая его кошмарным, но она время от времени бросала тревожные взгляды по углам и на дверь, и от этого ее сходство с птицей усиливалось.

Чувствуя, что он ей чем-то мешает, поэт собрался с духом, как если бы готовился прыгнуть в холодную воду, встал и сделал шаг к двери. Она благодарно ему кивнула:

— Спасибо. Не огорчайтесь, ничего худого не случилось... Я дам знать о себе.

Пробормотавши хозяйку свои невнятные извинения, поэт вышел на улицу. Он брел вдоль набережной, касаясь рукою перил, и холод их и ощущение твердости гранитных плит под ногами немного его успокаивали, помогая остановить бесконечную вереницу мыслей, сплетающихся в нервные путаные клубки.

Глаза его постепенно привыкали к темноте. Ветер усилился, он будоражил кроны спящих деревьев, шумевших в ответ тоскливо и сонно, и заставлял корчиться отражения домов на воде. Они напоминали сейчас лица, чудовищные, сжато гримасничающие: их окна десятками глаз поочередно шурлились, вытягивались в ниточки и открывались снова, будто подмигивая; двери, как рты, широко разсвались, глотая воздух,

захлопывались, и затем ритмично приоткрывались, что-то прожеывая.

Понимая, что не сможет уснуть, он, несмотря на усталость, проснулся всю ночь по городу. Он удивлялся тому, что не замечал раньше, как похожи дома на прожорливых многоглазых чудовищ, как злобны и чутки раскрытые пасти дверей, как терпеливо подстерегают они редких прохожих, как беззвучно и ловко их втягивают в себя и глотают.

В сознании его возникали необычные сочетания слов, и даже целые строки, яркие, с непривычным и красивым звучанием. Он их даже не старался запомнить и, придя на рассвете домой, не пытался записывать, а свалился в постель, не раздеваясь, и проспал чуть не весь день.

Вечером, не полностью очнувшись от сна, неуверенно, словнистый, он выбрался снова на улицу — и остатки сонливости нигде улетучились: город открывался ему по-новому, жутковатыми и манящими картинами, которые сами соединялись со звуками в прочный слав, в стихотворные образы, хоть и мрачные, но притягивающие силой.

Ветер раскачивал фонари, и округлые мягкие линии, градины света и тени, плавно скользили вверх-вниз по стенам домов, то высветивая окна желтоватым блеском, то погружая их в темноту. Это движение всегда завораживало поэта, но только сейчас он понял, что напоминали ему эти качающиеся тени — очертания крыльев летучей мыши. Легионы гигантских летучих мышей приносили ночь в город и взмахами черных бесшумных крыльев усыпляли дома.

Поэт перешел почти целиком на ночной образ жизни. Каждый день, вернее, каждую ночь у него возникали новые строки, или даже целые стихотворения, он иногда их записывал на клочках бумаги под фонарями, иногда же хранил в памяти до возвращения домой.

В городе все для него стало живым — фонари и дома, каналы, колокольни, мосты — все обрело способность чувствовать и страдать. Поэт познавал один из соблазнов города: стоит его очеловечить, наделить мечущейся душой его стены — и любящая трещина в штукатурке или выбоина в граните становится болезненной раной, и уже невозможно избавиться ни от ощущения сопричастности, ни от чувства вины, ни от режущей жалости. Боль наполняла каменный лабиринт города, и колокольни ночами, словно воздетые руки, тянулись к небу и молили об избавлении.

Тому, кто так ощущает город, особенно страшен рассвет. Кончается ночь, и по мягкой земле бульваров, меж клумб и мокрых скамеек тяжело шлепают жабы — это старух покидают

сны; потом серые когти рассвета раздирают покров темноты, царапают стены, скользят по стеклам; взрывается на востоке небо, и убитая взрывом луна всплывает мертвой рыбой; исподлинскими клинками заря ранит небо, окрашивая его кровью:

У поэта изменилось даже восприятие цвета города. Если раньше весь город в целом казался ему серым и голубым, то теперь его преследовало ощущение большой желтизны:

На медных досках тротуара.
Шурша, разлетаясь лунный шелк,
Пятнист от лунного отвара,
От лихорадки лунной желт.

Мой шаг, тяжелый, как раздумье
Безглазых лбов, безлобых лиц,
На площадях давил глазунью
Из луж и ламповых янц.*

Заметим, что наш поэт был неопытен и несколько наивен, но отнюдь не глуп, и прекрасно понимал, что с ним происходит. Перечитывая днем, на свежую голову, свои ночные стихи, он чувствовал, что по большей части это неплотные стихи, но мало в них света, и что столь любимый им город, оставаясь изысканно красивым, рисуется ему все более злобным и мрачным. Но что он мог с этим поделать — ведь поэт идет туда, куда ведут его звуки и строчки.

А кроме того, он надеялся на скорую благоприятную перемену, и на эту тему у него возникло даже что-то вроде небольшой теории. Он вспоминал часто и подробно тот вечер, открывший ему путь внутрь города, и воспринимал профессора и его родственницу — он почему-то решил, что она ему внукала или племянница, — как хранителей духа города, и если профессор был воплощением мрачного колорита, то она, сама собой разумелось, была хранительницей всего светлого. И когда он ее найдет, все переменится, и он создаст стихи, равноценные теперешним, мрачноватым, но легкие, радостные, устремленные к свету.

Он был убежден к тому же, что влюблен в нее до безумия, и, по общему свойству юности, из его памяти улетучилось все неслуховое и неприятное, а осталось лишь впечатление волшебства и полного счастья. Его не смущало даже, что он не знал ее имени, от этого она становилась еще прекраснее; главное, она обещала подать ему весточку, и, будучи человеком доверчивым — а отчего бы и не быть поэту доверчивым, — он ожидал ее в самом скором времени.

* Р. Мандельштам. Из цикла «Песни ночного города».

Но дни шли за днями, и ничего не случилось. Прошло уже больше месяца, наступил октябрь. Стало холодно, ночной ветер кружил бурянами листья кленов, а ожидаемая в жизни поэта светлая полоса от него удалялась, становилась все призрачнее.

Воображение поэта наполняло город больными, страшными образами, в ночных улицах бродили кошмары. В черные окна, затопляя дома, наливался ядовитый молочный свет фонарей; исполнинские змеи каналов опоясали город, затаились, выжидавая чего-то, и осторожно звенели по ночам чешуей; по пустынным рельсам скрежетал колесами одинокий трамвай, и кондуктор с белым пятном вместо лица, приплясывая, корчил рожи случайным прохожим. Город мстил поэту за что-то, скорее всего, за то, что он посмел влюбиться в женщину.

Поэт начал ее искать, хотя знал, шансы его в этом деле невелики. Он целыми днями болтался по улицам, надеясь встретить ее, но это не дало ничего: он мерз, скутал, стал узнавать в лицо многих жителей окрестных кварталов, успевших ему опротиветь, — и только.

Стихов он сейчас не писал: мало того, что ему неприятно было погружаться все глубже во тьму, гораздо больше его испугало то, что он обнаружил в разных своих стихах одни и те же сочетания слов и почти одинаковые строчки, круг образов начинал повторяться; нет уж — мрак, да еще штампованный — такую безвкусицу он себе не позволит, лучше вообще больше никогда и ничего не писать!

Оставалась еще одна возможность, ее он приберегал на конец: пойти к тем людям, во флигеле дворца, куда она его приводила. Правда, он плохо себе представлял, как будет там объясняться, кто он такой и чего хочет. Но других путей не было, и однажды вечером он направился к набережной. Его память не сохранила даже имен хозяев, и он дорогой обдумывал, как ловчее начать разговор: «вы, наверное, меня не помните» — что-нибудь вроде этого.

Дверь открылась, он был встречен улыбкой очаровательного голубоглазого существа, и только хотел произнести свою нелепую фразу, как его уже потянули за руку:

— Наконец-то пришел! Почему все опаздываете?

Пробираясь за своей провожатой по темному коридору, он думал, как и куда он мог опоздать, и тут же забыл об этом — был опять приглушенный свет, было много народу, но сразу, не успев еще оглядеться, он почувствовал прикосновение холодной и спокойной тоски, в любой толпе сообщающей, словно с непрошеной равнодушной любезностью, что единственного нужного вам человека в этой толпе нет.

В дальнем углу кто-то, держа на коленях магнитофон и крутя ручки, извлекал из него музыку, и одна пара медленно танцевала; у входа, в полутьме, на диване несколько человек очень тихо между собой разговаривали; посредине же комнаты, под деревянной аркой, художавый и смуглый юноша, в окружении нескольких зрителей, настраивал гитару.

Голубоглазая провожатая его бросила и улетела в прихожую еще кого-то встречать, а он стал искать глазами хозяина. Тот сам подошел к нему, и приветливое лицо, улыбка, внимательные глаза внушили было поэту надежду, но сказать он ничего не успел, его усадили поблизости от гитариста, познакомили с сидящими рядом гостями, чьи имена он и не пытался запомнить, и хозяин тотчас исчез.

Молодой человек в желтом свитере и с яркой бутылкой в руках, пробиравшийся мимо, стараясь не наступать на ноги, задержался у кресла поэта, задумчиво поглядел на него и, наклонившись, оставил в его ладонях белую чашку с красным густым вином. Уловив, что звать тут нельзя, поэт спросил его, минуя всякие предисловия:

— Вы не знаете профессора Вольфа?

— Вольфа?.. Я знаю его племянницу.

— Она будет сегодня?

— Слишком трудный вопрос, — улыбнулся тот виновато, — она как туман, незаметно приходит, незаметно уходит, — он закончил фразу уже на ходу, направляясь к танцующим, и в руке одного из них появилась тоже белая чашка, не прерывая танца, они поочередно из нее прихлебывали.

Гитарист перестал возиться со струнами и опустил гитару на колени.

— Тихо, новая песня, — сказал кто-то в сторону магнитофона, и его сразу выключили. За открытым окном прошуршала легковая машина, и стало совсем тихо.

— Замерзшие корабли, — произнес гитарист задумчиво, так, словно был здесь один и разговаривал сам с собой.

Из прихожей проникла в комнату женская фигурка, она бесшумно, но решительно скользила к центру.

Гитарист, по-прежнему ни на кого не обращающая внимания, начал перебирать струны:

Вечер красные льет небеса
В ледяную зелень стекла,
Облетевшие паруса
Серебром метель замела*.

* Здесь и далее — стихотворение Р. Мандельштама «Замерзшие корабли».

— Вам везет, ваша Вольф пришла, — шепнули поэту на ухо. От волнения, от восторга и от смущения, что не узнал ее издали, он растерялся и сидел в своем кресле не двигаясь. Фигурка подошла ближе — слава богу, он не успел к ней броситься — это была не она!

Девушка в черной шали, с красивым и милым лицом, не сводя с гитариста глаз, легко, беззвучно села на пол, при- слонясь к витому деревянному столбику.

И не звезды южных морей,
И не южного неба сине —
В золотых когтях якорей
Синева ледяных трясин.

Не она... как же это?

Свет лампы стал тусклым и желтым, и сделалось душно. Девушка обвила колонну руками и глядела заворуженно в грустно на рассыпанную по полу бахромую своей шали.

Облетевшие мачты — сад
Зимний, ветер клонит ко сну.
А во сне цветут паруса.
Корабли встречают весну.

Ему казалось, он вот-вот задохнется. Это уж слишком... Город над ним издевается... скорее, скорее отсюда.

И синее небес моря,
И глаза синее морей,
И краснея, горит заря
В золотых когтях якорей.

На дворе было сухо и холодно, улицы коченели от первых осенних заморозков. Дома потеряли теплые оттенки, и в мерт- вищем свете ртутных светильников были все одинаково мерз- лого жемчужно-серого цвета. Окна отбрасывали на асфальт зайчики, перекошенные четырехугольники лилового света, слов- но от фантастического ночного солнца.

Он шел быстро, будто куда-то спешил, и холод съедал зву- ки его шагов.

Какой большой город... как брошенный дом зимой... сна- чала остывают в нем печи, ложатся ледяные узоры на стекла, потом и они исчезают, в доме морозно и сухо... наконец, за- мерзают звуки, скрипы и шорохи пустого дома: дом мертв... нет, это слишком страшно, он же решил не знать больше кошмаров... Город — как жемчуг, если жемчуг не носят, если он не касается человеческого тепла, жемчуг медленно умирает... город медленно умирает, как жемчужное ожерелье

в шкатулке. Ах, это тоже страшно, лучше просто — замерзшие корабли... придет весна, растопится лед, поднимутся паруса, и поплывут корабли.

Одурманившая себя подобного рода мыслями, он вышел к темной громаде спящего собора. Холодная, молочного цвета луна висела в лиловом небе, и тень собора, огромная, причуд- ливо перекошенная, лежала на площади. Поэту в ней поме- рещилось что-то странное, он отошел подальше и стал рас- сматривать купол — все как будто на месте... Только фигуры архангелов — странно опустились их крылья, странно изогнуты спины...

...Как крылья вопросительного знака,
У всех химер изогнута спина...

Он словно слышал рядом каркающий голос профессора — да, по всем углам на соборе сидели химеры.

Поэт не стал их разглядывать. Он внезапно обрел хладно- кровие и скорым шагом, будто шел по делам, отправился к дому. По пути он спокойно рассуждал о своем положении, так, для порядка в мыслях, хотя, собственно, все и так было ясно.

Город мстит ему. И ее не отдаст. И это справедливо, пожа- луй. Почему он рассчитывал на нее? Со своими кошмарами он должен справиться сам, только здесь это вряд ли удастся. Значит, нужно уехать. Насовсем? Нет, зачем же. Два раза этой болезнью он болеть не будет. И чем скорее, тем лучше, хоть завтра.

Звук собственных шагов он не слышал, и опять подумал, что их приглушает холод. А может, и не в холоде дело — он уже не принадлежит городу и стал для него тенью. А разве тень может шуметь?

Остановился он только раз — на узком висячем мости- ке через канал. Он оперся на перила и смотрел вниз, на мерз- лую воду, неподвижную, тихую, готовую к долговому зимнему сну.

— Город мой, больная жемчужина, я прощаюсь с тобой, — он говорил негромко и медленно, — я не пленник твой больше и уже никогда им не буду. Я вернусь, но буду лишь гостем, и никогда — рабом. Но сейчас мне грустно, как грустно, о город, уходить из этого рабства. Город мой, прекрас- ный и страшный, я прощаюсь с тобой, добрых снов тебе, го- род!

У ворот его дома кто-то стоял, и поэт попытался его обо- яти, заподозрив, что город посылает ему еще один призрак —

неужели мало химер, — но фигура шагнула к нему, и в походе ее поэт уловил что-то знакомое: это был черный скрипач. С глухим мычанием он протянул поэту белый конверт и рас- творился в темноте подворотни.

Поднимаясь по холодным ступенькам, поэт думал, как по- ступить с конвертом, — он был уверен, что город хочет ему помешать уехать и расставляет очередную ловушку.

Он положил конверт на стол и не стал распечатывать. Дом-часы напротив был темен, и дежурное окошко в мансарде — ночная стрелка города — тоже было темно. Часы в эту ночь уснули, и время в городе остановилось.

Не включая света, поэт лег спать и сразу заснул, спокойно и крепко. Ему снилось теплое море, и соленые брызги волн, и шершавые белые камни, нагретые солнцем, он отчетливо ощущал их тепло.

Проснулся он очень поздно, в настроении веселом и легком, он давно уж не просыпался с таким удовольствием.

Улыбаясь своим ночным страхам, он разорвал конверт.

«Милый поэт, я о вас не забыла. Кстати, поэт, вы уверены, что я существую?»

Постарайтесь простить мне, что я вас тогда столь бесцеремонно выпроводила, но вы же помните, как все было: гипноз, увы, кончился, и нам нечего было сказать друг другу.

Мне кажется, в вашем отношении к городу слишком много болезненного — да, да, поэт, вы больны этим городом, и вам нужно лечиться. Лучше всего вам уехать, хотя бы на год, и когда вы вернетесь, все будет уже по-иному, этот город станет вам другом, и я, наверное, тоже.

Я дарю вам, поэт, мою давнюю мечту, для меня несбыточную: поезжайте в какой-нибудь теплый тихий город, с деревянными крылечками и тополями, и прямо с вокзала идите в театр. Проснитесь туда кем угодно — расставляйте декорации, подметайте сцену — все равно кем. Не выйдет в одном городе — переезжайте в другой, где-нибудь вас возьмут.

Я тоже исчезаю из города, может быть вам от этого будет приятней и легче уехать.

И еще, поэт, не слушайте Вольфа. Если у вас хватит сил хоть в какие-нибудь строчки вдохнуть гармонию или хотя бы тоску по гармонии — я ваша верная поклонница.

До свидания, милый поэт, до свидания через год, если вы захотите меня видеть, а пока я желаю вам счастья».

В конверте было что-то еще — он встряхнул его, и оттуда выпала маленькая картонка. Поэт взял ее со стола — это был билет на вечерний концерт.

Он взглянул на дом через улицу — третий этаж там погас,

а в мансарде было еще темно, значит поезд его через три часа. Он собрал свои вещи, все они легко уместились в его старенький чемодан, и комната сразу стала чужой, ему делать здесь было уже нечего.

Захлопнув наружную дверь, он не испытал сожаления, и сам этому удивился, а выходя из парадной, ощутил даже веселье и особую легкость, оттого что больше нигде не живет и все, что имеет, — с ним, в нетяжелом маленьком чемодане.

Ему не пришлось размышлять, где убить лишнее время, — рассеянно и привычно, как ходят со службы домой, он направился к пустому дому.

На лестнице по краям ступенек кое-где сохранились огарки свечей, и он грустно им улынулся, как старым знакомым.

По третьему этажу разносился частый и звонкий стук, он дробился и множился в пустых анфиладах, словно сонмы детей-невидимок, играя невидимками-мячиками, хлопали в гулкие стены.

В поисках источника звука он проходил по комнатам, сплошь увешанным пустыми картинными рамами, золотыми, черными, желтыми, то почти совсем новыми, то совершенно ободранными, и пятна на старых обоях, паутина и трещины рисовали в пустых квадратах фантастические портреты, равнодушно глядящие на пришельца.

Ступали в последнем зале этой диковинной галереи — создатель ее и хранитель, черный скрипач, вешал очередную раму, высокую, в рост человека, при этом не выпуская из рук своей скрипки, хотя она ему сильно мешала. Глухой и немой, он тем не менее почувствовал приближение постороннего; обернувшись, он уронил молоток на пол, поднес два пальца к губам и нетерпеливо подул между ними. Поэт протянул ему пачку, но он взял только две папиросы и одну из них закурил, а другую спрятал в руках.

Словно выбравшись из футляра сама, в его руках очутилась скрипка; он начал играть, и музыка казалась поэту очень красивой и очень грустной. В густеющем сумраке слабо мерцало золото рамы, и черный скрипач в ней казался собственным ожившим портретом.

Музыка лилась и лилась, завораживая поэта, и он уже не мог уловить, где кончалась одна вещь и где начиналась новая.

В рамках на стенах, одно за другим, начали возникать лица, они все внимательно слушали, и поэту вдруг стало страшно, что скрипач чарами музыки заключит и его в одну из пустых рам и оставит навсегда в этом мертвом доме.

Но внезапно он понял — здесь скрипач ни при чем, это горю не хочет его отпустить.

Он повернулся и быстро пошел прочь.

Только выйдя на набережную, он замедлил шаги. Опустились холодные осенние сумерки, в воздухе плыли снежинки, они тихо покачивались, словно танцуя под звуки скрипки, и садились на неподвижную воду, пропадаая в ее черноте.

Поэт шел не спеша, и из темных окон пустого дома доносились знакомая ему мелодия:

И не звезды южных морей,
И не южного неба синь —
В золотых когтях якорей
Синева ледяных трясин.

Стансы к разбившейся чернильнице

Прощай, последняя в ряду,
К кому испытываю жалость,
Поскольку больше не найду
Среди того, что удержалось
Вокруг меня на шатком льду
Существованья. Обветшалость,

Казня империи, стекла
Не истончила втихомолку,
Но ты, заполнив, как могла,
Предназначавшуюся полку,
Переместилась в край угла
И угодила под метелку.

Тебя оплакала душа,
С которой голосом привычки,
Молчанье вещи разреши,
Ты говорила. Пламя спички,
Флакон, брусок карандаша
Ответят: «Я!» — на перекличке.

Но, совершая самосуд,
И о тебе не позабыли
Метаморфозы, что несут
К небытию. Не ради пыли
В огне сработанный сосуд,
Моя чернильница, не ты ли

В эпоху птичьего пера
Со всей прозрачностью хранила
Пример слияния добра
И зла, а именно — чернила.
Иных спасла от топора,
Обожествляла и чернила,